

2. Города, люди и язык

“И Коллегия Картографов создала Карту Империи, по размерам равную самой Империи и совпадавшую с ней до последней точки..... Потомки же сочли эту Пространную Карту бесполезной и не без кощунства оставили ее на произвол Солнца и Холодов.

Суарес Миранда. Путешествия осмотрительных мужей. 1658.

Средневековый город или старинная часть его (*medina*), если их облик не слишком искажен временем, на аэрофотосъемке имеют специфически беспорядочный вид, точнее, они не подчинены никакой идеальной абстрактной форме. Улицы, переулки и проходы пересекаются под самыми разными углами, причем густота этой сети напоминает замысловатую сложность некоторых органических процессов. В средневековых городах, нуждавшихся для обороны в стенах и рвах, следы постепенно удалявшихся от центра стен очень напоминают годовые кольца дерева. Наглядным примером может служить вид города Брюгге (рис. 8) — типичного средневекового города купцов и текстильщиков с крепостными стенами, рынком, рекой и каналами, служившими, пока не засорились, артериями этого города.

Конечно, если город не строился по единому проекту, его структуре недостает геометрической логики, но жителей это никак не смущало. Легко представить, что большинство его мощеных улиц поначалу были пешеходными тропами. Тем, кто вырос в его кварталах, Брюгге совершенно понятен. Его переулки и закоулки отражают их обычные повседневные передвижения. Путешественник или торговец, впервые приехавший в город, наверняка заплутался бы, но лишь потому, что город лишен вторичной, абстрактной, логики, которая позволила бы пришельцу ориентироваться самостоятельно. Можно сказать, что городской пейзаж Брюгге 1500 г. дает местному знанию преимущество перед внешним, в том числе и перед внешней политической властью[115]. В структуре города это преимущество реализуется пространственно, в структуре языка оно аналогично функционированию трудного, малопонятного диалекта. Как полупроницаемая мембрана, оно облегчает его уроженцам ориентацию в городе и одновременно затрудняет ее тем, кто вырос не здесь и не владеет этим особым географическим диалектом.

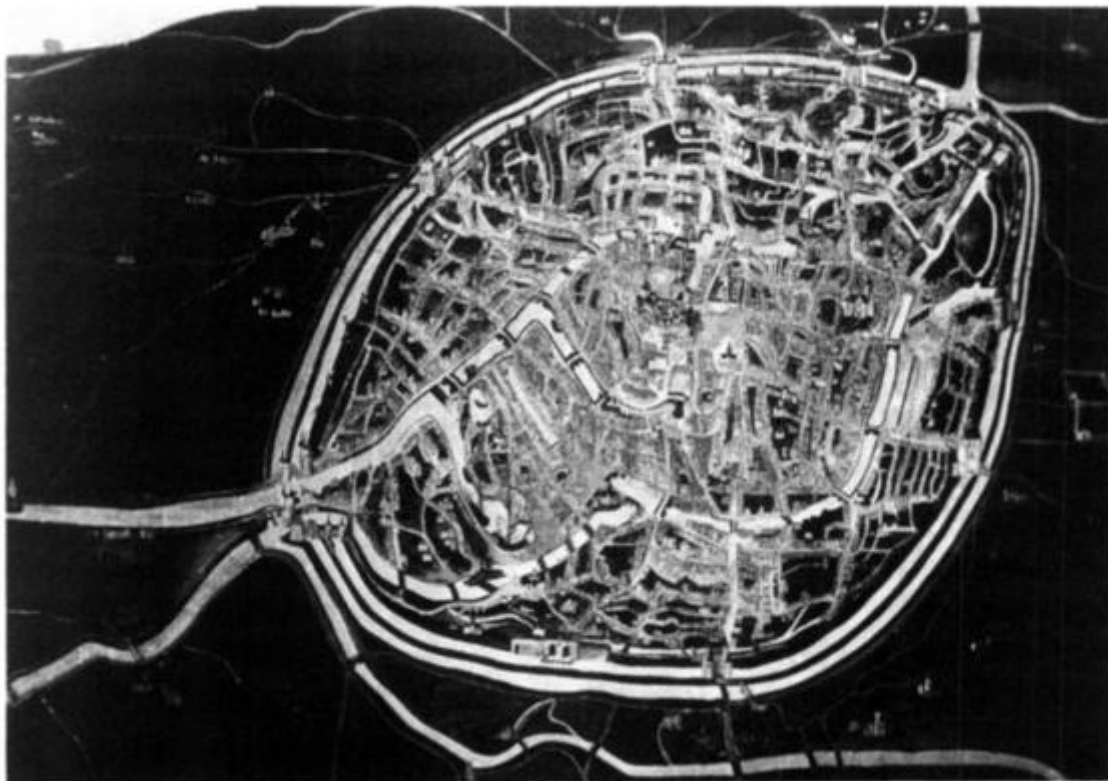


Рис. 8. Город Брюгге около 1500 г., из живописного собрания Ратуши г. Брюгге.

Исторически относительная непроходимость городских кварталов (или их загородных аналогов — холмов, болот и лесов) для пришельцев обеспечивала надежность жизненно важного рубежа — политическую независимость от внешней власти. Простейший способ определить наличие такого рубежа — спросить, сумеет ли пришелец найти здесь дорогу без проводника (уроженца этого края). И отрицательный ответ означает, что территория, на которой проживает данное сообщество, хоть в какой-то мере защищена от внешнего вторжения. В сочетании с местной солидарностью эта защита не раз доказывала свою политическую значимость в таких разноплановых исторических событиях, как городские хлебные бунты в Европе конца XIII — начала XIX в., стойкое сопротивление алжирского Фронта национального освобождения французам в Казбе[116] и политическая жизнь восточного базара, способствовавшая свержению шаха Ирана. Таким образом, невнятность местной географии для посторонних была и остается надежным ресурсом политической автономии[117].

Не решаясь перепроектировать старинные города (далее мы рассмотрим этот вопрос подробнее), государственные власти стремились хотя бы составить карты старых труднопроходимых поселений, чтобы облегчить политическое и административное управление ими. После революции подверглось тщательной рекогносцировке большинство основных городов Франции. В случае восстания в той или иной части города власть хотела обеспечить себе возможность быстрого перемещения в нужное место для эффективного подавления бунтовщиков[118].

Как и следовало ожидать, государственные власти и проектировщики городов стремились преодолеть эту пространственную неразбериху и сделать географию городов возможно

более ясной для внешнего глаза. Их отношение к кажущемуся сумбуру исторически сложившейся городской застройки мало чем отличалось от отношения лесников к естественной хаотичности природного леса. Геометрически правильные поселения (сетчатые городские структуры) уходят корнями в прямолинейную военную логику. Квадратный, упорядоченный, стандартный римский военный лагерь (*castra*) имеет много преимуществ. Солдаты легко осваивают способы его возведения; командиры отрядов точно знают расположение своих подчиненных и других отрядов; любой посыльный из Рима или чиновник, прибывающий в лагерь, точно знает, где искать нужного ему офицера. Из общих соображений понятно, что идея лагерей и городов, построенных по одной и той же схеме, как символ порядка и власти, может быть привлекательной для огромной и многоязычной империи. Не говоря уже о том, что при прочих равных условиях город, построенный по простой логике повторения, оказывается наиболее удобным для управления и охраны.

При всех политических и административных удобствах геометрически правильной городской планировки особую эстетическую ценность придала ей эпоха Просвещения, с энтузиазмом воспринимавшая прямые линии и видимый порядок. Яснее всех это отношение выразил Декарт: «Старинные города, разрастаясь с течением времени из небольших посадков и становясь большими городами, обычно *столь плохо распланированы* по сравнению с *городами-крепостями, построенными на равнине по замыслу одного инженера*, что хотя, рассматривая эти здания по отдельности, нередко находишь в них никак не меньше искусства, нежели в зданиях крепостей, однако при виде того, как они расположены — здесь маленькое здание, там большое — и как из-за них улицы искривляются и меняют свою длину, можно подумать, что это скорее дело случая, чем разумной воли людей»[119].

Представление Декарта о «хорошем» городе заставляет вспомнить о лесопосадках: прямые улицы, пересекающиеся под прямыми углами; здания одинаковые и по размеру, и по форме; все построено по единому плану.

Избирательное сродство между сильным государством и стереотипно спроектированным городом очевидно. Льюис Мамфорд, историк городской архитектуры, видит корни современного европейского градостроения в открытом, четком барочном стиле итальянских городов-государств. Он считает, и с ним вполне согласился бы Декарт, что «одна из великих интеллектуальных побед эпохи барокко состояла в организации пространства, в обеспечении его непрерывности, сведении его к мере и порядку»[120]. По сути, барочная перепланировка средневековых городов — с появлением огромных зданий, свободных пространств и площадей и стремлением к однотипности, пропорции и перспективе — была призвана выразить величие и подавляющую власть государя. Эстетические соображения нередко одерживали верх над сложившейся социальной структурой и повседневной городской жизнью. «Задолго до того, как изобрели бульдозеры, — добавляет Мамфорд, — итальянские военные инженеры освоили (благодаря их профессиональной специализации на разрушениях) навыки «бульдозерного» мышления: стереть все с лица земли и начертать на ней собственные негибкие математические линии»[121].

За видимой мощью барочного города скрывалась скрупулезная забота о военной защите государя от внутренних и внешних врагов. Так, и у Альберти, и у Палладио главные артерии

города мыслятся как военные дороги (*viae militares*), которые должны были быть прямыми. По мнению Палладио, «дороги будут тем удобнее, чем они ровнее: то есть на них не должно быть ни одного участка, где бы армии было трудно маршировать!»[122]

Конечно, на свете есть немало городов, более или менее соответствующих модели Декарта. Очевидно, что в своем большинстве они проектировались как совершенно новые, часто утопические[123]. Там, где города строились не по императорскому декрету, отцы-основатели закладывали их так, чтобы в будущем они могли вместить сколько угодно новых повторяющихся однотипных квадратов застройки[124]. Вид с птичьего полета на центр Чикаго конца XIX в. (равно подошли бы Филадельфия Уильяма Пенна или Нью-Хейвен) служит хорошим примером подобного города-сетки (рис. 9).



Рис. 9. Карта центра города Чикаго, примерно 1893 г.

С точки зрения удобства управления планировка Чикаго выглядит почти утопической. Она легко охватывается взглядом, так как состоит из многократно повторяющихся прямых линий и прямых углов[125]. Даже реки, похоже, почти не нарушают четкую симметрию города. Чужаку — или полицейскому — довольно легко найти нужный адрес, никакие проводники для этого не требуются. Осведомленность местных уроженцев не имеет никаких преимуществ перед неосведомленностью приезжих. А если к тому же, как в верхнем Манхэттене, улицы (*streets*) последовательно пронумерованы и пересекаются более длинными и тоже последовательно пронумерованными проспектами (*avenues*), то план приобретает еще большую прозрачность[126]. Сетчатая планировка города облегчает упорядочение его подземных коммуникаций — водопровода, стоков, коллекторов, электрических кабелей, газопроводов и метрополитена, что не менее важно для городских властей. Доставка почты, сбор налогов, проведение переписи, перемещение припасов и людей в город и из города, подавление восстаний и беспорядков, рытье канав для труб и

коллекторных сетей, розыск преступников или уклоняющихся от службы призывников (если они прописаны по указанному адресу), планирование общественного транспорта, водоснабжения и уборки мусора — все упрощается благодаря такой сеточной логике.

Отметим три наиболее важные особенности геометрически строгих человеческих поселений. Первая состоит в том, что их упорядоченность обнаруживается при перемещениях не столько по улицам города, сколько сверху и снаружи. Подобно участнику парада или рабочему у длинного конвейера, отдельный пешеход, находясь в центре этой сетки, не может охватить взором всю планировку города. Симметрию целого можно усмотреть либо из схемы, которую, вероятно, начертил бы и школьник, при наличии линейки и чистого листа бумаги, либо из повисшего высоко над землей вертолета, откуда смотрит на землю Бог или высшая власть. Возможно, такое пространственное соотношение изначально присуще самому процессу городского или архитектурного планирования, которое предполагает миниатюризацию и моделирование, позволяющие хозяину или проектировщику смотреть на эти модели сверху вниз, будто из окна вертолета[127]. В конце концов, действительно, ведь нет иного способа представить себе законченный крупномасштабный строительный проект, кроме как изобразить его в уменьшенном виде. Однако в результате, как мне кажется, по этим игрушечного размера макетам о пластических свойствах и визуальной организации объекта судят с таких позиций, которые мало кому из людей доступны.

Миниатюризации в виде макетов городов и пейзажей на практике может способствовать полет на самолете. Съемки с высоты птичьего полета (см. карту Чикаго) перестали быть просто картографической традицией, результатом соглашения. Аэрофотосъемка с большой высоты демонстрирует порядок и симметрию того, что на земле может казаться беспорядком. Значение самолета для современного мышления и планирования чрезвычайно велико. Задавая перспективу, сглаживающую топографические различия на земле, полет дает возможность снова стремиться к «синоптическому видению, рациональному контролю, планированию и пространственному порядку»[128].

Вторая особенность отчетливо видимой извне упорядоченности городской планировки состоит в том, что грандиозный план этого целого может не быть связанным с повседневной жизнью его обитателей. Конечно, некоторым государственным службам удобнее работать, а в некоторые отдаленные места легче попадать, но эти явные преимущества легко сводятся на нет такими постоянными недостатками, как отсутствие плотной уличной жизни, постоянный надзор со стороны властей, утрата придающих городу уют милых пространственных неправильностей, мест для неформального отдыха и чувства соседства. Строгий геометрический порядок городской планировки и не может быть ничем иным: он формален. Его видимая стройность несет ритуальные или идеологические черты, напоминающие о параде или казарме. То, что этот порядок удобен муниципальным и государственным властям, управляющим городом, вовсе не означает, что он удобен его жителям. Впрочем, не будем спешить с обсуждением вопроса об отношениях между формальным пространственным порядком и социальной жизнью.

Третий примечательный аспект гомогенной, геометрической, однородной недвижимости — ее удобство в качестве стандартизованного рыночного товара. Подобно схеме межевания

Джефферсона или предложенной Торренсом системе оформления прав собственности на вновь открываемые земли, сетка задает правильные участки и кварталы, идеальные для купли-продажи. Именно благодаря тому, что эти абстрактные единицы оторваны от какой-либо экологической или топографической реальности, они напоминают своего рода валюту, которую можно бесконечно накапливать и делить. Такая особенность сеточной планировки одинаково удобна и для инспектора, и для планировщика, и для торговца недвижимостью. В этом случае бюрократическая и коммерческая логика идут рука об руку. Как замечает Мамфорд, «красота этого механического рисунка, с коммерческой точки зрения, должна быть проста. Такой план не ставит перед инженером ни одной из тех специфических проблем, которые возникают в работе с участками неправильной формы. Даже мальчишка-посыльный сумел бы рассчитать площадь улицы или продающегося участка, даже секретарь адвоката смог бы составить купчую, просто подставив надлежащие размеры в стандартный документ. И наконец, любой городской инженер без какого-либо архитектурного или социологического образования, вооруженный лишь Т-квадратом и треугольником, сумел бы «спроектировать столицу со стандартными участками, стандартными кварталами, стандартной шириной улиц... Само отсутствие более детальной привязки к ландшафту или к человеческим целям лишь увеличивает благодаря этой неопределенности ее *повсеместное удобство для обмена*»[129].

Подавляющее большинство городов Старого Света представляют собой некий исторический сплав Брюгге и Чикаго. И хотя у политических деятелей, диктаторов и архитекторов не раз возникали планы тотальной перепланировки существующих городов, финансовая и политическая цена их замыслов оказывалась такой высокой, что они, как правило, оставались на бумаге. Частичное проектирование становится обычным. Центральное ядро многих старинных городов похоже на Брюгге, а новые предместья несут черты одного или нескольких проектов. Иногда такое несоответствие закрепляется официально, как в случае резко различных старого Дели и новой столицы Нью-Дели.

Случалось, что власти предпринимали драконовские меры для перепланировки уже существующих городов. Так, перестройка Парижа префектом Сеньбароном Хаусманном при Луи Наполеоне превратилась в грандиозную программу общественных работ, продолжавшуюся с 1853 по 1869 гг. Программа Хаусманна, поглотившая беспрецедентно много общественных средств, предусматривала насильственное переселение десятков тысяч людей и могла быть выполнена лишь единоличной исполнительной властью, не подотчетной избирателям.

Логика реконструкции Парижа напоминает логику преобразования естественно растущих лесов в научно организованные и специально предназначенные для унитарного финансового управления. И здесь мы видим тот же акцент на упрощении, четкости, прямых линиях, центральном управлении и обзорном схватывании целого. Как и в случае с лесом, план этот оказался во многом выполнен. Разница, однако, в том, что план Хаусманна был призван не столько служить финансовым целям, сколько повлиять на поведение и чувства парижан. И хотя этот план, безусловно, обеспечил столице гораздо более четкое финансовое пространство, эта четкость оказалась побочным продуктом стремления сделать город более управляемым, преуспевающим, здоровым и архитектурно импозантным[130]. Другое примечательное отличие состоит в том, что люди, насильственно выселенные из

города по плану Второй империи, могли отомстить городу и сделали это. Как мы более подробно рассмотрим далее, перестройка Парижа стала предвестником многих парадоксов позднего авторитарного модернизма в проектировании.

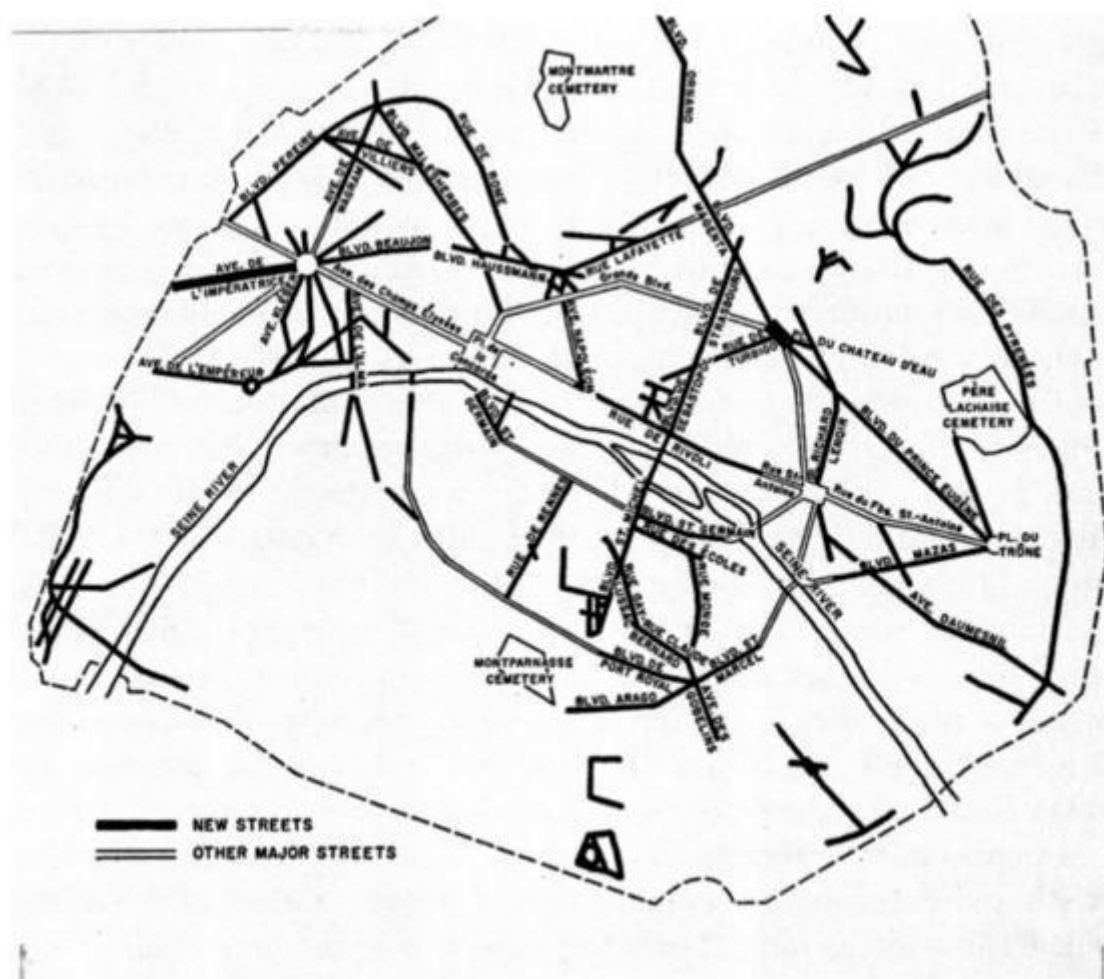


Рис. 10. Карта Парижа 1870 г., показывающая главные новые улицы, построенные между 1850 и 1870 гг.

На плане, приведенном на рис. 10, показаны и новые бульвары, построенные по стандартам Хаусманна, и дореволюционные внутренние бульвары, которые были расширены и выпрямлены[131]. Однако видеть в предпринятой реконструкции всего лишь новую карту улиц значило бы сильно недооценивать это предприятие. При всех разрушениях и огромных масштабах строительства, при всей четкости спланированных улиц новый образ Парижа нес явные следы приспособления к сложившемуся веками образу старого города. Примером могут служить внешние бульвары, следующие линии старой таможенной стены (octroi) 1787 г. Но программа Хаусманна была гораздо масштабнее, чем просто реорганизация уличного движения. Новая четкость бульваров сопровождалась изменениями, которые решительно меняли повседневную жизнь: новый водопровод, более эффективная канализация, новые рельсовые линии и новые остановки, централизованные рынки (Les Halles), газопроводы и освещение, новые парки и общественные скверы[132]. Новый Париж, созданный Луи Наполеоном, к началу нового столетия вызывал всеобщее восхищение великими результатами общественных работ, став предметом поклонения всех будущих зарубежных архитекторов.

В основе перепланировки Парижа, предпринятой Луи Наполеоном и Хаусманном, лежала военная безопасность государства. Перестройка города должна была прежде всего защитить его от народных восстаний. Как писал Хаусманн, «порядок в этой Жемчужине городов — одна из главных предпосылок общественной безопасности»[133]. За двадцать пять лет до 1851 г. баррикады воздвигались девять раз. Луи Наполеон и Хаусманн были свидетелями революций 1830 и 1848 гг., а июньские события и сопротивление перевороту Луи Наполеона стали самыми серьезными беспорядками столетия. Только что вернувшийся из изгнания Луи Наполеон хорошо понимал, сколь хрупкой может оказаться его власть.

Однако очаги бунта не были равномерно распределены по территории Парижа. Сопротивление концентрировалось в рабочих кварталах, имевших запутанную, непрозрачную планировку — как в Брюгге[134]. Присоединение в 1860 г. «внутренних предместий» (они располагались между таможенной стеной и внешними укреплениями, там проживало 240 ~тыс. человек) было явно направлено на обеспечение контроля над *ceinture sauvage*, который до тех пор оставался вне полицейского надзора. Хаусманн описывает эту территорию как «плотный ряд предместий, находящихся в ведении 20 разных администраций, застроенных случайным образом, пронизанных невообразимой сетью узких и извилистых улиц, переулков и тупиков, где кочевое население, никак не связанное с землей [недвижимостью] и лишенное сколько-нибудь эффективного надзора, растет с чудовищной быстротой»[135]. Очаги революции обнаружились и в пределах самого Парижа: Марэ и особенно предместье Сент-Антуан стали центрами сопротивления государственному перевороту, совершенному Луи Наполеоном.

Военный контроль над этими столь опасными местами, которые тогда еще не были как следует нанесены на карту, стал неотъемлемой частью плана Хаусманна[136]. Чтобы облегчить перемещение войск между казармами, расположенными на окраине города, и непокорными районами, был предусмотрен ряд новых проспектов между внутренними бульварами и таможенной стеной. Множество рельсовых и мощеных подъездных путей связывали каждый район города с военными подразделениями, отвечающими за порядок в нем[137]. Так, новые бульвары на северо-востоке Парижа позволяли быстро перебросить войска из Курбевуа к Бастилии для усмирения беспорядков в Сент-Антуанском предместье[138]. Расположение многих новых рельсовых линий и платформ было продиктовано такого рода стратегическими задачами. Непокорные кварталы или уничтожались, или рассекались новыми дорогами, общественными территориями и торговыми центрами. Обосновывая необходимость ссуды в 50 млн франков для начала работ, Леон Фоше подчеркивал интересы государственной безопасности: «Интересы общественного порядка не меньше, чем интересы охраны здоровья, требуют, чтобы через этот район баррикад как можно скорее была проложена широкая просека»[139].

Необходимость реконструкции Парижа диктовалась и интересами здравоохранения. Меры, необходимые, по мнению гигиенистов, для оздоровления Парижа, одновременно повышали его экономическую эффективность и военную безопасность, Устарелые коллекторы и выгребные ямы, падеж 37 тыс. лошадей (1850 г.) и ненадежный водопровод делали жизнь в Париже просто опасной. Город, имевший самый высокий показатель смертности во Франции, был подвержен ужасным эпидемиям холеры: в 1831 г. болезнь унесла 18,4 тыс. человек, в том числе премьер-министра. Она особенно бушевала в районах революционного

сопротивления, где из-за скученности и антисанитарии смертность была самой высокой[140]. Париж Хаусманна (для тех, кого не выслали) стал более здоровым городом: улучшение циркуляции воздуха и воды, открытость улиц солнечному свету снижали опасность эпидемий — так же, как улучшение оборота товаров и рабочей силы (к тому же более здоровой рабочей силы) повышало экономическое благосостояние города. Так утилитарная логика эффективности труда и коммерческого успеха соединялась со стратегическими интересами и нуждами здравоохранения.

Решающую роль в реконструкции Парижа сыграли и политико-эстетические вкусы самого Луи Наполеона, движущей силы этого предприятия. Назначая Хаусманна префектом Сены, Луи Наполеон вручил ему карту, предусматривавшую центральный рынок, Булонский лес и многие улицы, которые со временем были построены. Нет сомнения, что в основе планов Луи Наполеона лежали идеи сен-симонистов из утопического журнала «Глоб» и образцовые городские общины, описанные Фурье и Кабэ[141]. Их грандиозные проекты подогревали его собственное стремление сделать обновленную столицу символом величия его режима.

Как это часто случается с авторитарными проектами модернизации, политические вкусы правителя время от времени входили в противоречие с чисто военными и функциональными задачами. Прямолинейные улицы были, конечно, очень хороши для переброски войск на борьбу с повстанцами, но при этом они должны были украситься изящными фасадами и оканчиваться внушительными зданиями, производящими должное впечатление на путешественников[142]. Однотипные современные здания на новых бульварах могли бы обеспечить граждан более здоровым жильем, но чаще всего это была лишь видимость. Строительные инструкции касались почти исключительно видимых поверхностей зданий, а за этими фасадами можно было разместить массу переполненных, душных клетушек для сдачи в аренду, что многие подрядчики и делали[143].

Новый Париж, как отмечает Т.Дж.Кларк, воплотил желаемый образ: «Цель Хаусманна отчасти состояла в том, чтобы придать современности форму, и эта цель, похоже, была с успехом достигнута; он создал ряд форм, в которых город стал внятным, удобочитаемым: Париж, таким образом, приобретал черты искусно выстроенной декорации к спектаклю»[144].

Эти четкость и ясность достигались более откровенной сегрегацией населения по классам и функциям. Каждый район Парижа постепенно приобретал все большее своеобразие в одежде, занятиях и достатке: буржуазный торговый район, роскошный жилой квартал, промышленный пригород, ремесленный квартал, богемный квартал. В результате героических упрощений Хаусманна город стал более контролируемым и управляемым, более «читабельным».

Как это часто бывало с амбициозными замыслами нового времени, у просторной и импозантной новой столицы Хаусманна появился своего рода порочный двойник. Иерархия городского пространства, в которой перестроенный центр Парижа занял свое гордое место, предполагала вытеснение городской бедноты на окраины[145]. Это прежде всего относилось к Бельвилю, популярному рабочему кварталу на северо-востоке, который к 1856 г. превратился в 60-тысячный город. Большинство жителей этого квартала, который

нередко называли приютом отверженных, обездолила разрушительная энергия Хаусманна. К 1860-м годам он стал таким же очагом незатухающего сопротивления в пригороде, каким прежде был Сент-Антуан. «И проблема была не в том, что в Бельвиле не было сообщества, а в том, что сложившееся там сообщество было самого опасного для буржуазии свойства — туда не проникала полиция, там не было никакого контроля со стороны государства, там верховодили представители самых низких социальных групп, со всеми их неуправляемыми страстями и политической напряженностью»[146]. Если, как считают многие, Парижская Коммуна 1871 г. действительно отчасти была попыткой отвоевать город («la reconquete de la Ville par la Ville»)[147] со стороны тех, кого Хаусманн выселил на его задворки, то в Бельвиле это ощущалось особенно остро. Коммунары, отступая в конце мая 1871 г., отошли на северо-восток и закрепились в Бельвиле. Последним рубежом их обороны была Бельвильская ратуша. Объявленный логовом революционеров Бельвиль был подвергнут жестокой военной оккупации.

По иронии истории подавление Коммуны отмечено двумя характерными событиями. Во-первых, торжествовал победу стратегический проект Хаусманна: бульвары и рельсовые дороги, которые, по замыслу Второй империи, должны были помешать народному восстанию, доказали свою значимость. «Благодаря Хаусманну Версальская армия смогла одним махом перенестись от площади Шато-д'О в Бельвиль»[148]. Во-вторых, новые бунтарские кварталы были сметены строительством церкви Сакре-Кер, возведенной «в повинном городе... в знак возмещения ущерба на месте преступления»[149], точно так же, как прежде предместье Сент-Антуан было стерто с лица земли созидательными разрушениями Хаусманна.

Версия #1

Зверобой создал 12 апреля 2025 18:45:26

Зверобой обновил 12 апреля 2025 18:49:03